

№ 1619 К

МИХ. ШОШИН

ИНСТРУКТОР

ПТАХМИН

№-1619. К



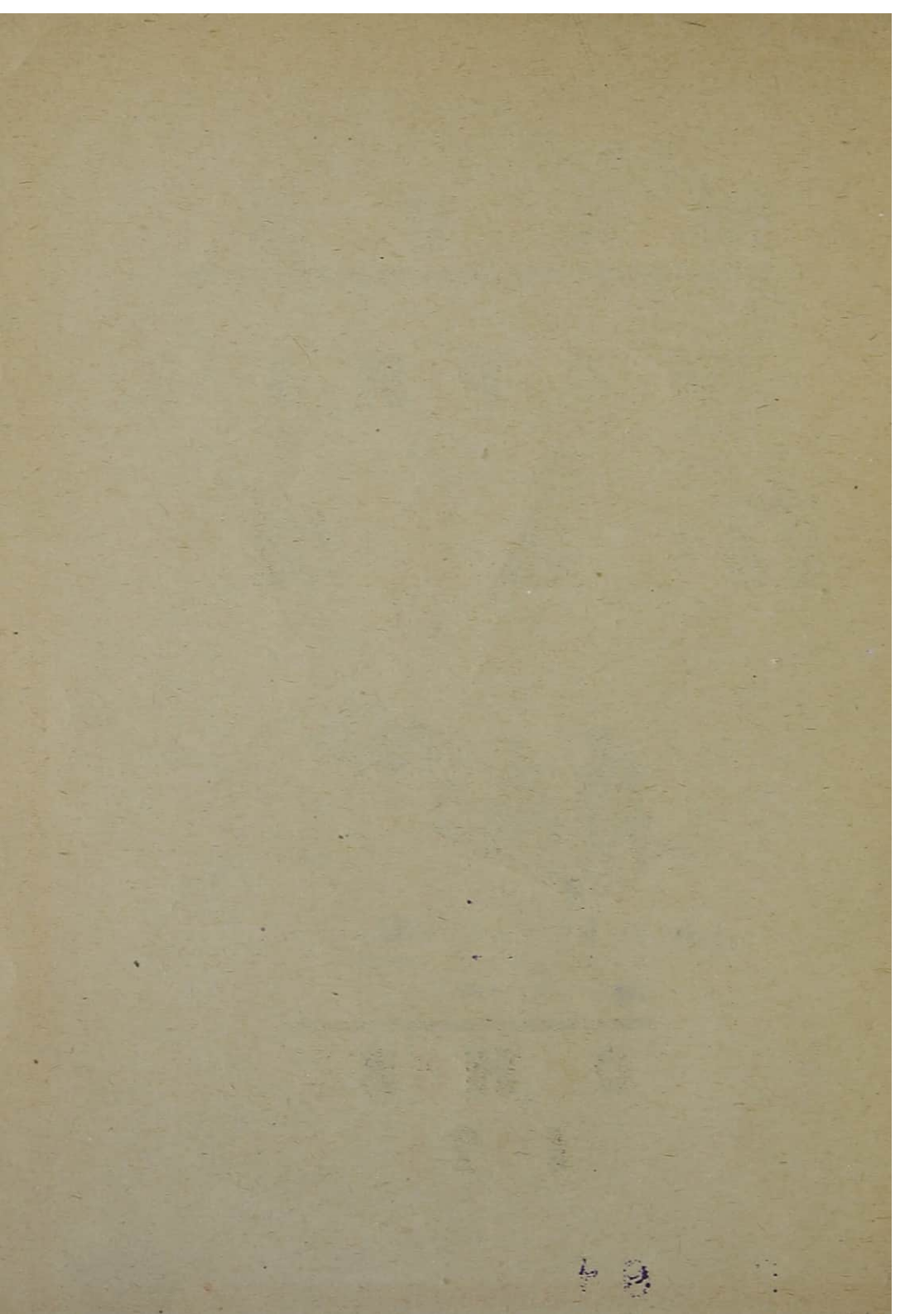
Ивановская Обл. Научн. Библ.

Отдел Краевой

ОСНОВА

1925





МИХ. ШОШИН

ИНСТРУКТОР ПТАХИН

РАССКАЗЫ

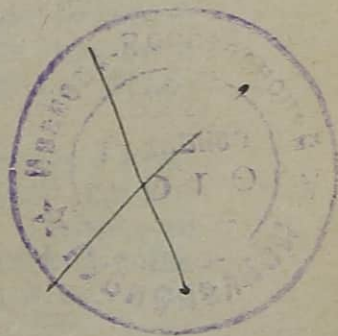
ОБЛОЖКА И РИСУНКИ
Л. М. ЧЕРНОВА-ПЛЕССКОГО

Ивановская Обл. Науч. Библ.

Отдел Красной

«ОСНОВА»

Иваново-Вознесенск
1925



1941

84

№-16/9. К

«ОСНОВА» № 103

Напечатано в типо-литографии «Красный
Октябрь» Книгоиздательского Товарище-
ства «Основа» в Иваново Вознесенске.
Ив.-Возн. Гублит № 327 Тираж 5000 экз.

1937

ИНСТРУКТОР ПТАХИН.

Инструктировать Птахину не внове, не в первый разок, понавострился уж на этом деле. В ячейку всегда сходится интересно, только вот пешком наверхивай верст семь-восемь—инда ноги заноят и энергия вся пропадет. То ли бы дело на лошади... или вон пишут—в Америке на десять человек автомобиль... Эх-ма...

Птахин парень бойкий, но одет попросту, а не по комиссарски. Шапка на голове теплая и рожа шапочными ушами обернута. мех на ушах заиндевел—белый. Засаленная тулужурка, а под мышкой папка с бумагами, инструкциями, брошюрами. На ногах серые сапоги и правый сапог загнулся боком, подошвой вверх, как край овсяного колоба. Птахин старается его от этой привычки отвадить, то и дело попя загнувшейся стороной—не помогает.

Под ногами снег жалобно взвизгивает, в полях морозная пишина, снежная белизна, вдали белесая синь. Вокруг дороги заячьи и собачьи следы на снегу, вышивка на белоснежном полотне.

Вон на полянке в перелеске тихо и красиво, как в мраморном зале, а зелень елок—дорогой малахит. Позади мужик гонит на лошаденке порожняком. Конец гужа как язык мотается, дуга наперед свалилась и села на

лошадинные уши. Мужик в дубленом желтом тулупе прилип к головяшке, черная борода смешалась с воропником из черной овчины.

— Молодец, присаживайсь! Прилипай, прилипай—вот так.

Птахин присел на кончик нахлесток и застыл, как грач на сучке.

— Эх, ми-илай, поде-ергивай. Да ну-ну, страмость,—запел мужик.



Разговорились про жизнь, про новую власть... Сразу же и заспорили.

— А хреноваты вы большаки по стекольному-те, все у вас разваливается, деревню, напримериче, толькo грабитя. Налог, да налог, хлеб, да хлеб. Надьись мужики—ай, как ругались.

— Ничего не поделаешь, такое положение создалось, все нападают на Республику,—объяснил Птахин.

— Нападают, а вон тут не нападают да все растащили,—и мужик ткнул кнутом в сторону, где на поле, около березовой рощи,

крепко осели длинная красная фабрика и красивый барский дом.

— Тут ваш же брат распацил,— укорил мужика Птахин.

Мужик осердился.

— Не наш брат, а вот такие, как вы... Всегда и пронюхиваете, как бы где что намылишь. Ну зачем, примериче, ты едешь?

— В вашу деревню к молодежи... Я инструктор.

— Эге... Значит, молодых смущашь. И так они у нас всю деревню заволокли,— не зря, значит. Вот такие ухари наспаучат. Мужиков они закапали. Бе-еды... Тпррр.

Мужик остановил лошадь. Птахин удивился.

— Друх, ты слезай... пра, слезай, потому эшта на священной беседе старец Евденей нам чипал, чтобь ни помогать, ни давать нонешней власти, а наипаче везти «таких» в деревню. Это самый большой грех, неотмолимой грех!

— Темен... дурак ты, дядя.

— Друх, товариш, слезай... На примериче, мужики увидят, что я тебя привез, так залают меня.

— Ну, и черт с тобой! Сволопта ты, дядя.

Мужик свистнул кнутом и смачно выругался:

— Ну, ну, страмость.

Птахин опряхнулся, топнул, чтоб справиться сапог. Невдалеке зачернелась деревня.

* * *

В полдень уже сидел в помещении ячейки, в бывшем барском доме и разговаривал с руководителем ячейки. Тепло, уютно. По стенам висели плакаты, газеты, портреты.

— Мужики нападают на нас. Мы, говорят, вас выгоним, выпорем. А молодежь, только небольшая часть получше-то, а остальной только бы шалопайничать, плясать, шатаются. Она ни к чему не пристает. Мы же действуем здорово.— У Птахина серые глаза загораются и он дает десятки советов.

— Сказать можно, а вот сделать? — охоложивает парень.

В другой комнате кто-то намеревался заиграть на гармонике.

— У нас здесь осенью замечательные концерты были: гармонь и двое пастухов на рожках. Ну, и наяривали ловко. Теперь мы и для ячейки гармонь купили — все-таки музыка, веселее. Каждый вечер собираемся, газеты читаем, иногда книжки, репетиции устраиваем. Хорошо, радостно, весело. А в деревне мужики спят, охают, пугаются.

Долго рассказывает парень.

* * *

А вечером спектакль (день праздничный). Быстро, привычно гоповятся к спектаклю: девушки превращаются в настоящих баб, спарух, ребята — в мужиков, стариков. Ярко, ярко размазываются рожи, ребята привязывают бороды, приклеивают усы и, глядясь в зеркало, хохочут задорно, заливаются. Восторгаются своими костюмами. На них сейчас будут глядеть, хвалить и хаять их игру и потом, по окончании, хлопать. Настроение радостное.

— Ну, сейчас и сыгронем, мы актеры то заправские. Вот, товарищ Птахин, погляди — удивишься!

— Пора, пожалуй, митинг открывать, все готово. Долго проговоришь? — спрашивает секретарь ячейки.

— Этак с час, не больше. Иди открывай.

Птахин потянулся, зевнул, как перед привычным, надоевшим делом. Кто то из членов пропянул: «воп, видно, сказонеп». За занавесом секретарь ячейки кричит:

— Товарищи-и, сейчас сделает доклад прибывший инструктор товарищ Пти, Пта, Пти, Птицы, Птах, Птахин...

Из угла посыпалось — цып, цып, цып, цып! Зал захохотал. Птахин плюнул и распрострился. Вышел за занавес, в зале шумно: смеются, взвизгивают, разговаривают.

— Товарищи, я вам скажу о текущем моменте... Неслыханной борьбой, страшными усилиями мы добились мира. Посмотрим на международное положение...

Шумели, взвизгивали, разговаривали. Птахину казалось, что над публикой в аршин толщины броня невнимания. Хочется говорить складно, ясно, громко, а тут как нарочно на язык лезут: «хм, гм, как сказать, значит, значит», вообще вся словесная сорная трава. В публике одному парню в рожу хлопнулась пряпка. Все захохотали. Парень связал из пальцев кулак, поднял и завыл: — «Я те вот зафиксирую!» Птахину и то сделалось смешно. В углу два мужика, пришедшие посмотреть на спектакль, на весь зал рассуждают: — «В пастухи бы нам этого орапеля». Другой не соглашается: — «Не... куды... не справит. В подпаски еще пуды — сюды».

Птахина охватывает злость, апатия, не хочется говорить, как нарочно, голос свой

не нравится—визжит, еще больше раздражает. Скорее бы кончить... к черту, да и с докладом—то. Для такой публики стоить говорить. И еще более от этого путается.

Наконец, подбирает все знакомые лозунги и кидает в публику.

— Я кончил,—провозгласил Птахин.

— Ну, кончил и спасибо, отваливай, — пискнуло в публике. Залились смешком.

Из правого угла, как теплой водой плеснули хлопками.

— Здорово откатал,—хвалили, встречая, ребята.

— Ну, ребята, сейчас начнем спектакль!

* * *

Круг танцующих песенный, потный, безмолвный — огромный клубок. Птахин сидит в углу, одну ногу перевязал другой и любит весельем и воспоргается волшебным действием гармошки. А еще любит в чем. Всех задорнее пляшет одна девушка. На ней белая кофточка, пепловое платье по-статно этак на ней сидит. Лицо — ну, что за личико! Глазки ласковые, носик аккуратненький, ноздри так и играют, губы так и перевиваются, как две красные ленточки. А ногами семерит, семерит, подробит, топнет, поднимет ножку, да так в воздухе и поведет — все равно, что распишется.

— Эх, вот бы познакомиться, черт возьми,—мелькнуло у Птахина.—Хотел бы понарядней был. Новую бы рубашку надеть, а рубашку белую, с черными головастиками, брюки бы «клев» серые, штиблеты. Танцевать не умею, а то бы сейчас ее пригласил.

— Ишь ведь как вышивает. А ты вот тут сиди—гимнастерка застасканная, штаны бурные и сапог загнулся.

Все-таки от скуки написал записочку, ведь как никак, а «вы-выступал».

«Хорошо бы с Вами, дорогая незнакомка, пройись, побеседовать. Напишите в ответ чтонибудь».

Смотрел внимательно за ней, как она удивленно приняла записку, читала, бросилась писать ответ. Получил записочку:

«Вы просите писать, но что писать—не знаю, Позвольте вам сказать, что я вас уважаю».

Удивился и просветлел. Чорт возьми, да и стихом написано, не сама-ли сочинила?

Играли «по загороду».

— Гранька, запевай,—крикнула ей какая-то девушка.

«Гр-а-аня»—как красиво и звучно ее зовут. «Гра-аня», еще раз пропел и чуть не запел. А она всех громче выводила: «В саде мята, рожь не жата, не кошенная трава». К Гранькиному голосу чутко прислушивался, налюбовался вволю и черкнул: «Жду в корри-доре. Выходите одетая».

* * *

Стоял в корридоре, дожидался, а сердце... сами знаете, в такие минуты как оно препыхается. Выбежала, на ходу надевая пальто, огляделась, подлетела к Птахину и щебетнула: «Вон вы где, а я по вас ищу». Просто, ласково, задушевно. Вышли на улицу. Ночь темная, небо серое, тихо, тихо, только и слышно, как сапоги снег пережевывают. Брели воробьиными шагами, путаясь в тем-

ноге, точно в тулупе из черных овчин, с серым воротником — небом. Птахин начал чувствительный разговор.

— А вы, Граня, хорошо поете, спойте сейчас.

Граня огляделась вокруг и робко с'ежилась:

— Знаете, страшно... глядите темно, темно и тихо.

— Вы тихонько, для меня.

Долго ломалась, но запела:

Все васильки, васильки,
Много мелькало их в поле...

Голосок заиграл, а в глазах Птахина темнота расцвела васильками, ландышами, и среди цветущего раздолья стоял главный цветок—Граня. И такую красивую девушку, представьте себе, можно встретить в деревне. Вот, где драгоценности залеживаются. Только она, оказывается, не деревенская, а дочь служащего с ближней фабрики.

Птахина за сердце так и дернуло: на такой девушке и жениться не худо, хоть сейчас...

Граня перестала петь и засмеялась.

Хорошо, очень хорошо, всю бы ночь слушать. Вдруг отчего то вспомнилось, что правый сапог стороной загнулся. Топнул, чтобы справиться... Граня взвизгнула и засмеялась:— «Ай, упали?».

Птахин покраснел (хорошо что не видно):

— Нет, так, поскользнулся...

Долго они в темноте плутали.

* * *

Сидел в часы занятий в комнате Укома и работал. Читал газеты, просматривал

инструкции, но... в глазах милая, ласковая Граня, такая аккуратная, красивая, да бойкая. Темнопа расцветала васильками, ландышами и образом Грани. Казалось, что газеты со страниц кукиш кажут, а инструкции засиненные бумажки. Когда то снова ее придется увидеть? А то все равно, что с мужиком: отвез версты две, а потом — друх, слезай. Не ишти-ли опять туда в ячейку, к Гране? Опять погуляем, поговорим, она споет. Размечтался и замянул легонько:

Все васильки, васильки,
Много мелвало...

Секретарь Укома, пыхтя над циркуляром, указывая принадлежательное практическое мероприятие, остановился на слове «договоритесь», и крикнул:

— Ты что, Птаха, распелась?

— Что, что... я говорю надо чаще инструктировать Бугровскую ячейку... Сидим здесь и пишем бумажки, туда и не заглянем, а там дельные-то люди только и нужны. Я был, так в-о-о-о как просили опять приходиться!

СОЗНАТЕЛЬНИК.

Вечером идут в клуб (две версты от деревни), помещающийся в бывшей барской даче.

Их трое — сознательных деревни; самый большой Семен Тетеркин, поменьше ростом Серега, претий Сашка — такой славный парень, сын солдатки, отец убит в царскую войну. Сашка завернулся в изодранную маперину жакетку с пышными фалдами. У него единственное горе, о чем часто вздыхает так: беда, одежки никакой нету, на голове старый солдатский карпуз, поглотивший всю Сашкину голову.

Это сознательник деревенской молодежи — из десятка парней деревни только трое совершенствуют себя и ходят в клуб.

Идут мерзлым полем, слабо запорошенным снежком.

Три фигуры в непроглядной осенней тьме не различишь, только слышно переговариваются да ногами скрихчутся о мерзлую землю, хлещется об ноги сухая полынь, рябинник, хрустит под ногами звонкий ледок. Бредут. Собьются с пропы — найдут и опять плетутся.

Серега идет и рассуждает:

— Интересно, ребят, что мы сделаем, если пройдет с десяток годов, ну побольше... Наверно, в деревне проведем электричество,

будут разные машины,—мы умные мужики. Маслобойку али мельницу общественну сделим.

— Я на фабрику уйду, не буду же я вам все время скотину пасти,—говорит недовольно Сашка.

— Чудак, мы тебя на электрическую станцию машинистом приспособим, не хуже фабрики-то... Хочешь?

— А когда она... эта станция-то будет? —скептически тянет Сашка, и задумывается.

Вдруг преск льда, всплеск воды.

— Что-о? —вопрошающе басит Теперкин.

— Врюхался в калужину, — объявляет Сашка.

— Налилось в сабок? —справляется Серега.

— Манентё.

Серега продолжает мечтать:

— А ведь интересно, если летом на этом поле автомобиль бы зашумел. Ж-жу-у-у. Это бы чудо. Ровно сейчас вижду, жу-уу. А доживем!

— Постой, робя, что-то побрякивает.

Прислушиваются.

— Ровно конско ведро о телегу.

Вскоре выпирается большая фигура, у нее за спиной звонит и брячит на разные лады.

— Ах... робяты!

— Ты, дядя Егор?

— Он самой... Ффу...

Ставит устало на землю брячущую массу в мешке.

— Дайте бумажки закурить. Несу оп свояка самогонный аппарат. Вантю женю.

— Связал— жени, да и кончено. Скушно, говорит. Ну, а без выпивки какая свадьба — в гости никто не пойдет.

Закуривает, взваливает мешок на спину, и расходятся.

— Вот наша молодежь какая, лакают самогонку, шляются всегда хулиганя, голова пустая, женятся от скуки.

Тетеркин сплевывает недовольно и прибавляет шагу. Ребята молчат.

Вдруг Семен вспоминает:

— Прodeкламируй-ка, Серега, этот стишок, что ты сочинил про наших деревенских ребят, которые пьянствуют.

Все останавливаются. Серега откашливается, и начинает:

Кашило солнце небосклоном,
Шло по воздушным волнам.
Наши парни шли прогоном,
Шли и кричали нам:
Ванька Конев нам орет:

— Это что вот женится,— пояснил Серега.

— Вот она огнем пылает,
И бутылкой нам махает.
Маньку за бок туп берет:

— Ах кака ты, Манька, горда!
Манька хлоп ему по харе. Пьяна морда
Рассердилась, зашипела, заорала.
Манька наша убежала.

— Нам, робя, не по пути,— заорал Сема Тетерь...

— Это, значит, ты! — остановился напомнимь Серега.

— Ладно... знаю... Вали дальше,— ответил Тетеркин.

Нам уж в клуб пора итти,
Вас бы выпороть теперь...

Сашка захолопал в ладоши и закричал на все поле—би-ис!

Побрели.

— Ловко! Ты продекламируй его в клубе, этот спишок спюющий,—совеует Семен.

— А вот когда случай подойдетя.

Заиграл впереди огонек через решетку деревьев—спарую березовую рощу у дома, словно огненная боюга-белка прыгала с дерева на дерево.

ГАРМОНИСТЫ.

Глухое сельцо. Рассыпалось на полверсты на угоре. Белая чахлая церковь посредине в старых березах воткнулась. На краю дорога прапковая с старыми березами по бокам, с глубокими колеями.

Живет сельцо тихо, однопононо.

В восьми верстах фабрика с людными слободками, железнодорожная станция.

А здесь стынъ, грусть.

Лепом обдувает его нивным, сухо-хлебным воздухом, старается его солнце жарой изничтожить, крестишки церковные желтые расплавить.

Туманятся блеклые вечера. Опясывает белым шарфом густой вечеровой туман с реки. Издеваются сердитые ночи, нагоняя мрачную немощу.

Есть клуб. Помещается в большом сарае развалившегося, теперь заброшенного папочного завода. Лавки—наколоченные на кряжья песины.

Запыленные плакаты.

Гирлянды желтого ельника, с обваливающимся игольником.

Занавес повис, словно мужичьи свалившиеся штаны, которые нужно поддержнуть. Сырость. Затхлость. В двух местах провалился потолок.

Зимой по вечерам народищу здесь — не пролезешь. Каждодневно репетиции, спевки. По воскресеньям — непременно спектакль. Играют плохо подготовившись, и, конечно, выходит скверно.

Четыре спектакля были устроены без репетиций — возмут пьесу, намажут рожи — и пошла писать...

Один раз провалились. Тяжелая суфлерская будка была подвешена на тонкой веревке вместо зыбки (зыбку припащитъ постеснялись). Хлопнулась. Публика захохотала. Актеры со стыда убежали. Продолжать не стали.

Летом в клуб никого не заманишь — работы много. Свободное же время предпочитают проводить на пригорках, в перелесках, на полянках в играх, прохаживаниях. Назначит собрание или репетицию Петр Гришин, двадцатипрехлестный семейный крестьянин, придет, посидит. Оторвет полотна с рамок — на портянки, чтоб завтра обуть их борошнью. Никого не дождавшись, ругаясь, уйдет домой.

Село замечательно тем, что в нем живет много гармонистов, и все заправские.

По воскресеньям, когда пропоет сельцо за чаем, раскудахтаются гармошки по разному.

Одна задорно рассмеется, другая унывно загупорит, третья расплещет пихие прозрачные звуки, такие широкие, как непонятно-грустная синь за селом. Последняя точно перебрасывает звонкое, колотое стекло.

Лучший гармонист, Гришка Косцов, молодой румяный парень — среди девок постоянный успех.

Повесив на плечо свою двухрядку, идет он собирать товарищей в лес гулять. Выпекает сам и гармонь у него выговаривает тоже у окон:

— Иван Федорыч Похлебкин, выходи, выходи, д'выходи, д'выходи...

Выходит. Идут к другому.

— Митрий Яковлев Сироткин, выходи, выходи, д'выходи, д'выходи, д'выходи...



Из мостового окна выставляется бородастая, заспанная рожа отца Сироткина.

— Ты чего орешь? Тут отдохнуть легли, а он с гармонью орет, паршивый чорт.

Косцов под гармонию вежливо:

— Анисим Палыч, ты не лайся, ты не лайся...

— Мишка, иди к нему, а ты убирайся к чорту со своей гармозой.

— Анисим Палыч, дрыхни...

И гармонию сердито: — дрыхни, дрыхни, дрыхни, дрыхни.

Другой музыкант — Мишка Кривой, с одним только глазом и вида довольно безобразного.

Третий — Нанак — тридцатипятилетний мужик, пипа людей бесполового, непрактичного и беззаботного характера.

Любимые его песни «Варяга» и «Бывали дни веселье». Играет он только для мужиков и баб.

Пашка Оладвин — зеленый парень. У него «пальянка».

Трое оркестром играют на цветистых горках. Молодежь пляшет. И целый праздничный день поют и рвут, пая молодежь гармонными песнями.

И долго не вселяется после этого тихий полевой угон с ягодными запахами.

Нынче весной заезжали сюда знаменитости, — привез их с фабрики, где они выступали, допоздний Гришин.

Были развешаны огромные афиши о выступлении силача и царицы цепей.

Всем очень понравилось: охали, удивлялись. Разговоров об этом хватило на целый месяц.

* * *

Потухающий тихий вечер.

На пеньковом, узорном, в роскошных цветистых красках, с нежной правдой, за полоске далеко за деревней, в поле семь человек: четыре гармониста, Гришин и два парня из правления.

У Нанакки во рту стебелек — жуёт его медленно.

Мишка Кривой одним глазом рассматривает красный цветок.

Оладкин ноги кверху задрал и болтает ими. Остальные живописно развалились.

Гришин докладывает, срываясь и жестикулируя:

— Деньги, как ни повернись, нужны — потолок провалился, сцена оборвана...

И все затихли и заснули и вообще никаких серьёзных переживаний...

— Допустить, к примеру, танцевальные вечера — и то совершенно сорвется — в лесу аль на пустыре плясать вольготнее и ароматнее и по этой танцевальной пути идти нам не охота — никакого интереса.

Спектакль готовить — время свободное нет — никто не ходит. Ясно. И нащепи обратно разбужения тишины ничего не попахнет.

Теперь бы какую ни на есть знаменитость сюда затаскать... Из Москвы много их раз'ехалось — тьщи, по всем городам напихалось, вон на фабрике то и дело приставляют. Звал я одних певцов сюда — место глухо, говорят, сбор будет пустышной. Вот я и при-

думал вечер знаменитостей устроить. Будто капиторически проезжим турнем по России знаменитые Московские гармонисты и большой оперы певцы — можно приписать устраивают грандиозно приставленбе. Будто настоящие... И надуем публику самым практическим образом.

— Никому чтобы ни рассказывать все равно, что под страхом расстрела. И напишем громадные афиши... Заграницуемся, шляпы наденем.

Упер рукавом пот на лбу и фукнул от горячей речи:

— Фу-уй, я кончил.

Глаза у всех загорелись, заартачились рты улыбками. Хвалят:

— Ловко придумал.

— Один придумал, али жена помогала?

— Один — ха-ха.

Нанакка опасается:

— Узнают Мишку по глазу.

— Мишка сядет боком, хорошим глазом к публике.

— Боком, Мишка, садись, боком!

Повернул Кривой для примера голову боком:

— На-ка, узнаешь-ли что глазу нет?

— Узнают — плевать, пускай зубоскалят.

— Изобьют и ничего не попишешь.

— Давайте стараться, чтоб не узнали.

— Для храбрости самогоночки надо хлебнуть среднее количество.

— Никому не рассказывать, чтобы ни-ни...

— Гармони надо раскрасить, чтоб по ним не узнали.

Так разрабатывали подробный план.

Шумела над ними рождь, хороня тайну.
Свиспали крыльями сприжи. Пахло земля-
ной и цветами.

* * *

Со среды развесили по селу афиши—
ярко намалевали цветными карандашами
кривляющиеся слова.

Гришин сочинил.

— Только одна гастроль.

(Что такое сие? Никто не знал).

«В здании клуба в воскресенье
* * * июня Московскими знамени-
постями будет сделан концерт.
Знаменитые гармонисты на
всевозможных гармониях в вели-
чину—самая большая с сундук и
самая маленькая с коробку из
под спичек—сыграют всяческие
сонеты и песни все вместе и
по одиночке и по всеки. И еще
из самой большой оперы актеры
исполнят разные арии».

Одну афишу повесили на церковной па-
перти, так и висела она до субботы, к ве-
черне пошли спарики—сорвали.

Заворковали, запокали в селе.

— Послушаем, как Московские играют.

Смаковали:

— Уж наверно, эх, и ловко.

Косцову, Кривому, Нанаке, Оладвину
«в глаза»:

— Эти наверно играют не чета вам, не
пилят, а играют.

Гармонисты тихонько улыбались, крепко сдерживая пайну:

— Что-же они, они Московские, ище-б хуже нашего играли.

Кто-то уже сумел навратъ по селу, что самая большая гармонь не меньше деревенской бани и едва вопрешь ее на сцену.

* * *

В воскресенье у молодежи, гулявшей на покапой горке, над ручьем, только и разговору было о вечере.

Игра Кривого, Оладина теперь сразу показалась надоевшей. Все ждали другого.

— Брось, Кривой, надоел уж.

— И знаменитости не ахти уж как играют—не на небе учились.

Для отвода глаз, в сумерках, Гришин и Косцов заложили лошадей и погнали.

— На станцию, к поезду—отвечали всем.

Доехали до лесу. На полянке поставили лошадей. Валялись на праве, курили, хохотали. Стемнелось—вернулись по-за гумнам незамешно.

Народу собралось у клуба—уйма, пушкой не прошибешь. Билетов не хватило. Безбилетных все сдерживали:—Не лезьте, дубе, клуб своропитъ недолго.

— Жми, пусть там от жары дохнут,—кричали озорники.

* * *

За кулисы никого не пускали. И никто не лез—не смели знаменитостей.

Сряжались, чистились. Трусливо вздыхали.

Гришин гримировал и уговаривал:

— Не робь, натиск и сила воли.

На Мишку Кривого надели имевшийся в клубе сюртук и шляпу.

Нанак в длинноволосом парике и добытом на фабрике костюме—профессор, да и полько.

На Оладвине белый картузик, галстук.

Косцов шапокляк достал, пенсне на нос. Публика не знает, что в хороших местах на сцену без головных уборов выходят. Здесь это очень важно—иначе узнают.

Ни кого ни за что не узнаешь.

Гришин мазал мордасы.

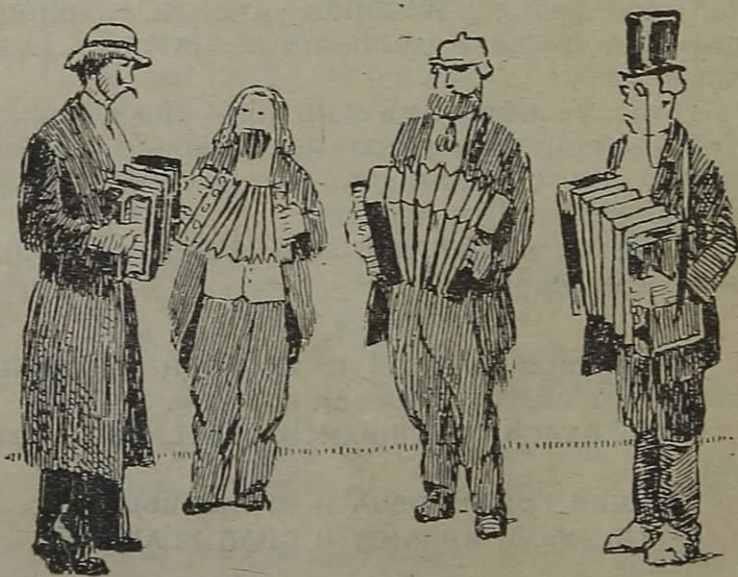
Певцы пробовали голос.

Выпивали для храбрости.

Гармоники спояли в ряд вычищенные, выкрашенные, с наколоченными вместо медалей медяшками.

* * *

Открылся занавес. Разинулись рты. Вспотевшая публика сдержанно отдувалась



Бросилось всем в глаза, почему неп самой большо́й и самой маленько́й гармоней.

Спервоначалу сы́грали «Интернационал». Потом игривый марш.

Хлопали—и долго, и громко.

Особенно бойко и ловко сы́грали «Вдоль да по речке». Всем понравилось—минут пять топали, хлопали, кричали.

Стало стихать. В зале переругивались и пыхтели. От спрашной духоты гармонисты вспотели. Мишка Кривой вынул платок из кармана, весь в пабаке, обмахнулся несколько раз и крепко с выдержкой, с аппетитом:

— Пи—пчих!

Слетели длинные усы, повернулась голова к публике и представилось этой самой публике Мишкино лицо в строгом всегдашнем величии.

Несколько голосов:

— Да это Мишка Кривой...

— Вот, вот усы в нос втыкает.

Оладвин не выдержал, фыркнул.

Косцов закрыл рот ладонью и отворотился.

Один Нанака невозмутимо смотрел на публику.

Узнали всех и уж орали:

— Средней Нанака.

— Правой Косцов.

— С боку Оладвя.

Выскочил Гришин, и, чтобы спасти положение:

— Спокойствие! Счас будет сыгран сонет.

Несколько парней лезли на сцену, чтобы узнать и расправиться.

Гришин их спалкивал. Завязалась ругань. Спалкивать присоединился Нанака. Разочарование и озлобление у публики росло.

— Надули, черти.

— На шармака.

— На оферу хотели взять.

Десятка два лезли с кулаками:

— Бей-ей их, шпобвы не омманывали.

Огрызок репы резнулся Нанаке в живоп. Мишка Кривой юркнул за сцену, за ним Оладвин, Косцов.

— Бей! Бе-эй!

— Взбучку хорошу им.

Спалкивавшего пинками лезущих парней, Нанаку, схватили за ногу, а он ухватился за столб и не сдавался. Тянули с гогопом. Особенно были страшны пьяные. Гришин с'ежился и замер. Дело проиграно.

Что делать? Нашелся: захикикал и ласково.

— Робятки, потише! Девушки не визжите. Товарищи, опустите Нанакину ногу. Дело такое придумали мы—здесь скучно и никакого развлечения, спектакли делать—некогда готовить, работы много... Надо от скуки почудить—пускай сельски ребята посмеются.

Ну и придумали такую штуку. Все равно узнают—посмеются. Чай не што сделали... Кроме веселья ничего тут нету. А сейчас под все четыре знамениты гармони танцы да сколь кто хочет. Выйдите из зала на минутку—скамейки к споронам поставим.

— Чисто помазали.

— Обтяпали.

— Провели было простопу деревенску...

— А все-таки помять их за это надо бы.

— За храбрость хвалю.

Здоровенная глотка басом:

— Как они нас чисто надули, заставляем своим сечашным постановлением — все ли за это?

Никто не отвечал, потому что не знали что за постановление. Все ответил сам себе за всех бас.

— Играть их чепурех до девятого попа, беспередыху. Перестанут — рванину.

За сценой голос Косцова:

— Из за тебя все, кривой чорт! Присну вот по морде.

СЕМКА ВЕНИКОВ.

Бывает так, что где-нибудь на задворках жизни хорошая вещь валяется.

Про Семку Веникова говорю. Ему бы не в пастухах быть... Осмнадцать годов... Задорный, отпорвистый. Только в глазах поскливанность. Это — от полевой тишины, грусти, уединения. Целых пять месяцев в поле одно и то же.

На плечах рваная сермяга, под ней севшая с плеч лянная рубашка, лапти, в руке вечный кнут, на поясе берестяной рожок.

Сечет он тихие поля звуками рожка, — и они, грустные и трогательные, доходят до Кудлатой деревни и стывают в унылых гумнах.

Все тогда молчит, прислушивается.

И жила бы наша деревня Берестянка тихо, если бы не ругались между собой кулак Кузьма Петров Пузков с Семкой Вениковым.

Пузков заявился к Семке вечером с таким вопросом:

— Почему скотину плохо накормил?

— Она сама ест, в рот совать я ей не стану.

— А где ты в полдень бываешь; во стаде один подпасок только?

— В село к учителю бегаю, грамоте учитьсья.

— Эх, что придумал... В пастухах паспи без грамоты лучше. Не твоей дубовой башке учитьсья—ничего не понимаешь.

Семка ответил очень язвительно:

— А вот когда можешь узнать—понимаю я али неп.

— Скопину бы лучше кормил. В пастухах хорош и без грамоты.

Семка его на этом месте облаял:

— Капись ты, свет... Я сам больше тебя понимаю.

Пузков, широкобородый, пучный, как старый самовар, распахпится.

Каждый вечер они с Семкой разлаютсья.

— Вот такие голыши из пастухов да из бездомников во многих местах нынче заправляют. Душить таких дьяволов надо.

Семка на это отвечает по своему. Сочинил он в поле складушку и распевает ее под окошком в дома Пузкова:

Кузьма Пузков первейший плут,
Проживает у нас тут.

Мужики займы берут,
Перед ним и спины гнут.

Э-эх ка-алина.

Надо гнать таких мошенников,
Объявляет Семка Веников:

Они опять в ефтом момент
Очень вредный элемент.

Э-эх ка-алина.

Соберется орава мужиков, гогочут. Кулак лаеся, а Семка еще задорнее выплясывает и поет.



Кузьма Петров в касаемости баб зажил по новомодному.

Мало своей жены толстухи — работницу Агафью для этого дела приспособил. Зачи-желела. Плачется всем.

— Как пустая была, так ласковий был, а теперя го-онип.

Кузьма Петров охал:

— Неуж я ей плохое делаю. Благодетельства мово не помнип. Посылаю в город — езжай, там зараз вышибуп и на дорогу, два целковых даю. Не мравится это ей.

Прогонял. А куды ей деться?

Вот, понимаете, какое положение. В пеп-лю да и шабарики, толькo и остаеtся.

В нашей глухой Береспянке и посове-товать никто не может. Темны все да и Пузковым сильно зажаты.

Тогда то Семка Кузьме и об'явил:

— Я грамоте выучилсь. Не веришь? Я это тебе докажу.

И вечером, в избе у Грибковых долго совеща-лся с Агафьей.

На другой день она ходила в волосное село за пятнадцать верст с такой бумажкой

В народный суд.

Прошу не оставитъ меня бесча-стной от случившейся со мной го-рести. Я жила у кулака Кузьмы Пеп-рова Пузкова в работницах и сильно он меня по вдовьей бедности при-жимал. Прошу народный суд возбу-дить на прокормление ребенка, кой во мне все росстеш и росстеш и ни от святого духа, а от самого Кузьмы Прошу не оставитъ меня бесчасной По безграмотству Огафьи.

Семен Веников.

Она вечером Семке докладывала:

— Бумажку приняли... Все правильно. Спасибо, что научил. Просветительной ты, Сема, стал человек.

Семка теперь машает кудрявой головой и хвастается:

— Зимой в Береспянке косокол организую.

Недавно мы его в сельской райской сове-т членом выбрали.

В жизни большая сила будет Семка та Веников!

СВЕТЛЯК.

Павел Пискарев с окружающей деревенской жизнью абсолютно не согласен, ненавидит ее по всем пунктам и желаетельно ему взорвать ее — старую, запхлую, косную и разветвь, чтоб сгибла проклятая бесследно.

Молодой (двадцать четыре) он бодр, свеж, восприимчив. Единственный светлый человек в глухой деревне: читает книжки, примеривается жить по новому, удаляется от деревенского невежества и самогонки. Пьяницы и самогонщики опасаются его, а будучи «в дымину» лезут битвь.

Трудно жить.

Глухим вечером садится в заднем углу, где у него столик, покрытый газеткой, приспособлен, у яркой лампочки читать. Окна занавешивает, а то, у которого сидит, закрывает черной материнной юбкой, чтоб не видно было на улице огня, чтоб не раздраживать пьяниц, а то увидят, пристанут — беда.

На улице ветер визжит и хлещет в окна и стены своими рваными полошницами. Над столом, на стене прилеплен портрет Ленина; любит Илч своим здоровым пипомцем Пискаревым, когда он вечером садится за книжки. Свежий численник. Две вырезки из газет на гвоздочке, вместе с сорванными числами.

Три туманные фотографические карточки — расселись молодые ребята красноармейцы в шлемах — шут же на всех, конечно, сам Пискарев, — почему то все чрезмерно сосредоточенные и как то манерно надуты. Это новый уголок. А в переднем углу старый — опцов: черные, старые иконы, кресты и замызганные лестовки.

У стола рядом, привязанный к задней стене теленок, тянется он — достаёт пестрой мордочкой бумагу со стола. Павел хлопнул ладонью по слюнявым теплым губам. Теленок взбрыкнул, запрыгал, замычал. Пахнет навозом и еще едко молочным.

В круглой корзине, покрытой ватницей, тонко, жалобно, просяще, то и дело блеют ягнята. Им тем же, только побасистее, отвечает овца со двора. Отец храпит на печи.

Но все эти звуки скоро перестают волновать Павла. Книжки интересные, увлекательные. Забыта темная деревня, загнанная жизнь.

Пробуждается энергия, сила. От этих спрочек появляются в голове мощные образы, потрясающие картины. Проплывают явственно баррикады, пламенные вожди, пролетарии — герои революционной улицы, рассеивается пороховой дым, плещутся знамена, вспрянулась и кипит мятежно страна. И он, Пискарев, весь в этой борьбе, не знает усталости, сна... Бои, спешная работа, помогает вождям... Его ловят, хотя и расстреливают, но он ловок, увертлив, смекалист — тягу...

Так проходят часы. Блеют, мычат, храпят, но он этого не слышит. Мигает уж лампочка, надвигается из углов густая темь. Так долго, долго. Глухоноче.

Время плещется еле-еле.

В мерпивой тишине под окном скрип снега под ногами, глухое бормотанье и пьяный выкрик:

— Пи-и-скарев, выходи!

— Чо-орп, выходи...

— Да-а-ва выпьем...

— Па-аднесем...

Знает он: пришли пьяные одноподеревенцы и соседи-самогонщики бить, ругать, издеваться. Их человек пять—падают, встают, кричат, лаются. Не первый раз—часто такие визиты.

Всего охватывает злость, волнение. Машинально гасит лампу.

— Ученой он—книжник, читает по ночам..

— Выходи, морду расчистим!..

— Бьем телегента...

И долго несутся с улицы издевательские крики. Вскрикивают с постели старик отец, мать. Отец кричит в окно:

— Нет дома, в волость ушел он...

— Чего нет, сейчас огонек из занавески видать было.

— Говорят вам нет, так и нет.

— Мы сейчас посмотрим—отпирай!

— Не отпору!

— Сами войдем.

— Бе-ери!

- Напирай.
- Коленко-ом!
- Ра-а-зом.

Со сквернословием, из всей силы дергают за скобку, пинают в дверь. Пискарев идет на двор, чтоб оттуда, когда оторвут дверь, выйди в ворота. Защищаются нечем, да и бесполезно.

Так орут, ругаются, дергают, пинают— изба трясется. Кричит источным голосом отец. Запор видимо еще выдерживает.

- По-окажем как губу драпъ.
- Дружитъся с нам не хочет... Та-ак учен-ной...
- Выпить не жалап.
- В газету писатъ...
- Мы ему про-опишем.

Около ворот шаги—много ног. Думает, что это они узнали и забегают—здесь хотят поймать. Через узкую дверь лезет в голбец, там ползет по земляной завалинке в угол. Запирает. Не найдут.

А это прибежали жены—визжат, упрасивают. Ругаются, бьют жен...

* * *

Утром разгребает снег, едет в сарай за сеном, идет на колодец—встречаются вчерашние ночные визитеры. Одупловатые, обвисшие лица, тусклые, скучные глаза и все они хмурые, безрадостные, сердитые. Отворачиваются от Пискарева, опасаются и не смеют с ним разговаривать.

Только их жены, встречаясь, жалостливо
говорят:



А. Чупов Писемко
1925

— Бить тебя наши-то пьяницы хотели
ночью—едва мы увели.

После чаю, навязав крепко шапку с ушами, бежим в село за шесть верст в библиотеку—книжки менять. Светит немощное зимнее солнце. Дали прозрачны и как-то опрадно лазурны. Снег, поливший густо солнечным светом, сияет огнистыми мелкими блестками и лежит покойный, красивый. Воздух морозный, звонкий. Гладкая дорога, кусты, перелески. Обгоняет сосед, топ, что богатеет. Везет воз хлеба в село продавать—мужики нанесли в обмен на самогонку. Вслед ему Павел скрипит от злости зубами:

— Награбил, дьявол. Выжал из мужиков.

Бежит Пискарев — поропится. Подгоняет еще мороз — дергает. Хрустом поют сапоги. В голове привычная, взлелеянная надежда на что-нибудь новенькое, свеженькое, радостное, которое бы ободрило, встряхнуло, приблизило к заветному.

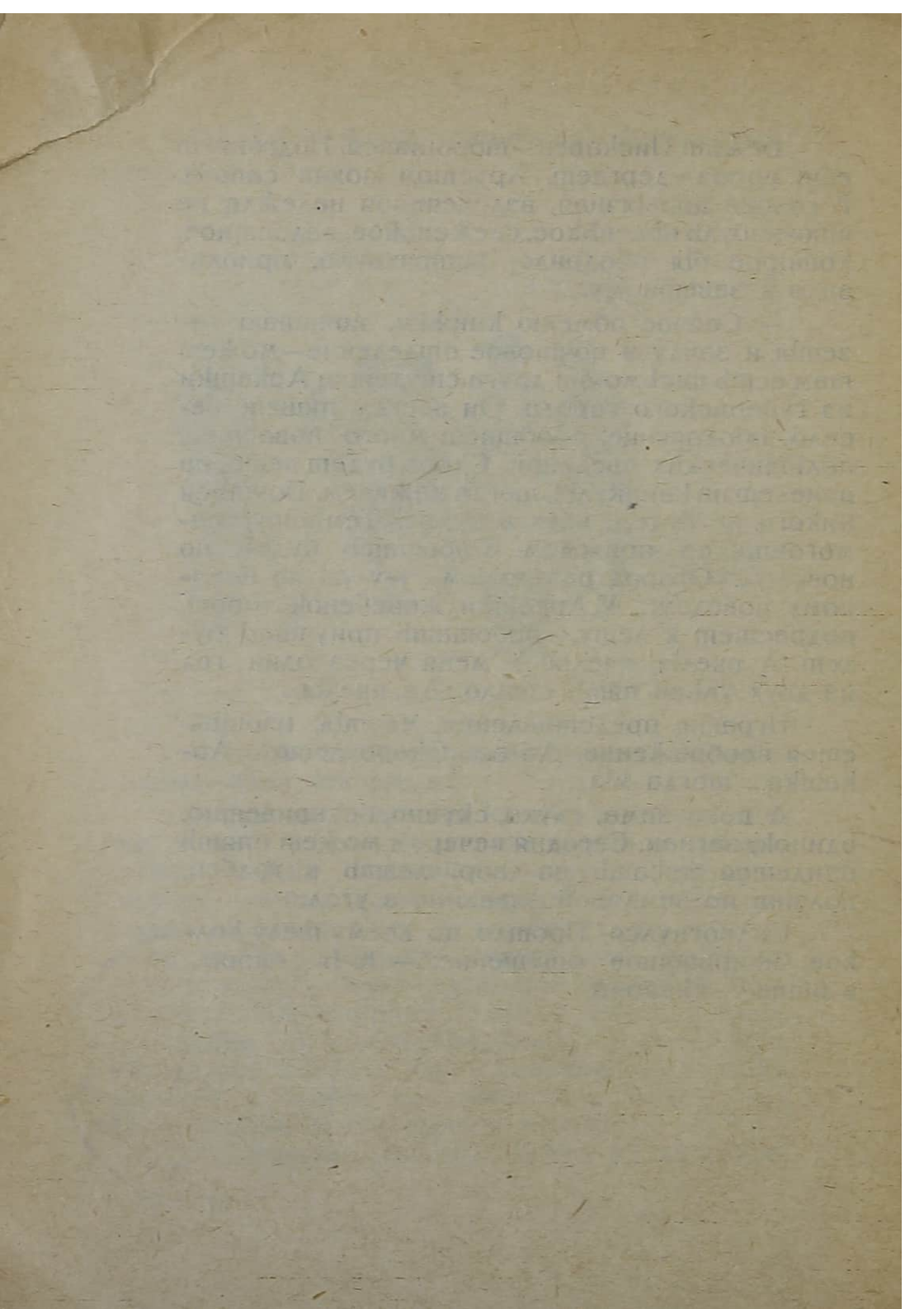
— Сейчас обмену книжки, почищу газеты и зайду в почтовое отделение — может там есть письмо от друга студента Аркашки из губернского города. Он всегда пишет весело, ободряюще, сообщает много новостей, политических сведений. Скоро будет лето, он приедет на каникулы, тогда заживем. Бояться никого не будем, всех в руки... Темному, саmogонщиков прижмем. Работать будем по новому... Огород размахнем — у-у-у... по научному поведем... У Аркашки жеребенок хорош, подрастет к лету, — работать приучать будет. А пчелы, пчелы! У меня через один год из двух ульев пять стало. Да, пчелы...

Играют представления, мечты, изошряется воображение. Да-а... Скоро лето... Аркашка... тогда мы...

А пока зима; глухо, скучно, бесприветно, одинок, загнан. Сегодня вечером может опять придется бежать на двор, лезть в голбец, ползти по земляной завалине в угол.

Содрогнулся. Прошло по всему телу колкое неприятное ощущение: — Ы-Ы бвррр... в общем — скверно.





О г л а в л е н и е .

| | стр. |
|-----------------------------|------|
| Инструктор Птахин | 3 |
| Сознательник | 12 |
| Гармонисты | 16 |
| Семка Веников | 28 |
| Светляк | 32 |

○ FABRYNNE

1871

1871

1872

1872

1873

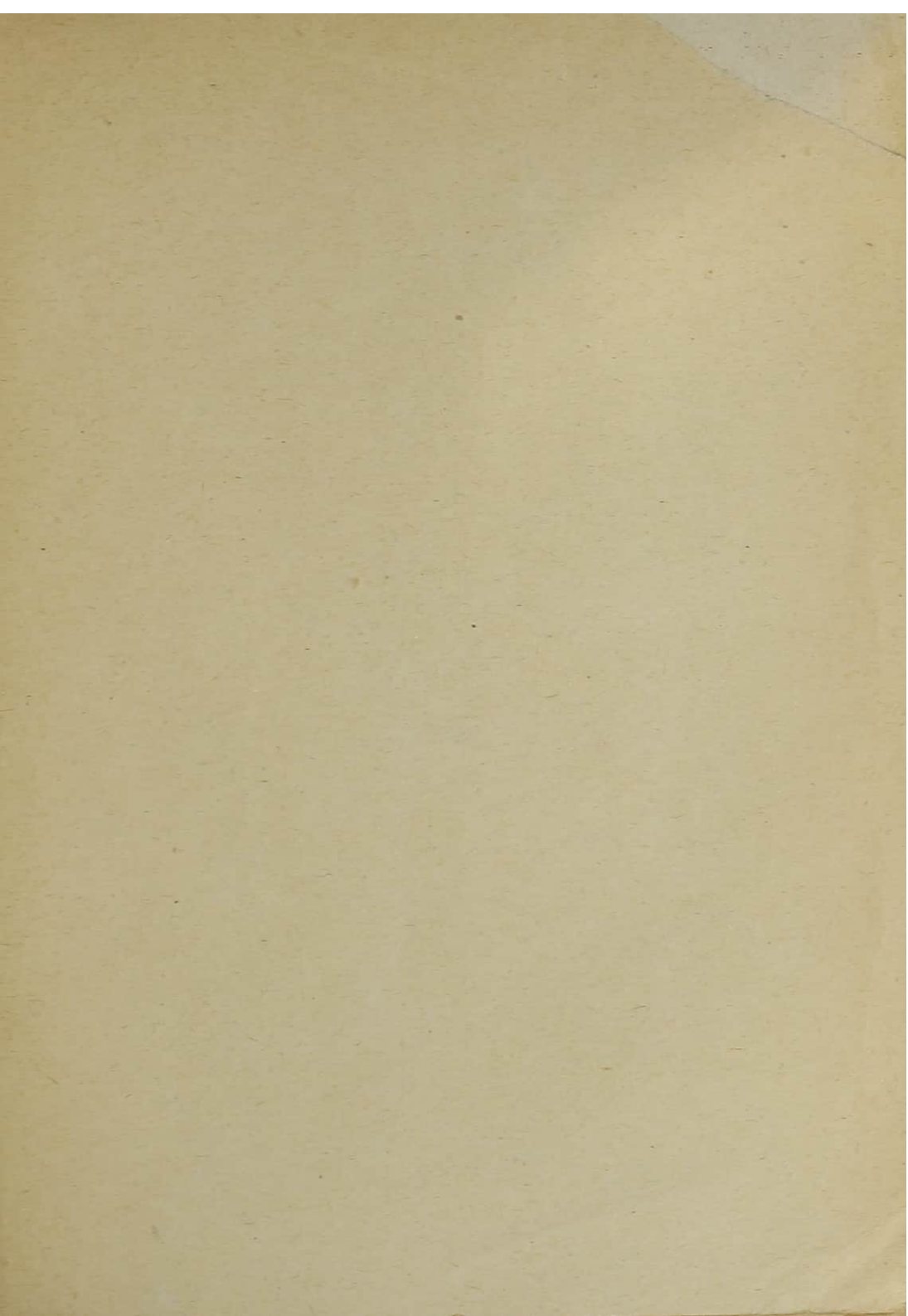
1873

1874

1874

1875

1875



КОП.



